

- [Дружинин А В](#)
 -



Дружинин А В

Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов

А. В. Дружинин

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

В КОНЦЕ 1853 И В НАЧАЛЕ 1854 ГОДОВ

(Из путевых заметок)

И. Гончарова. Спб., 1855

Не раз уже имели мы случаи беседовать с читателями о наших родных русских путешественниках и по этому случаю высказывать все наше уважение к талантам туристов-повествователей, не переводившихся на Руси, - от времен Фонвизина¹ до последних поездок г. Ковалевского², от русского путешественника Карамзина до г. Платона Чихачева³, к сожалению, так мало писавшего в последнее время. Говоря об этом предмете, можно назвать много имен, великих для науки или дорогих читателю. У нас, конечно, еще не было своего Брюса⁴, вытерпевшего всевозможные страдания для того, чтобы зачерпнуть воды в источнике Нила, или раджи Брука⁵, покинувшего родину для войны с малайскими пиратами; но из этого еще не следует, чтобы наша юная словесность не была богата превосходными путевыми рассказами. Пора проснуться, взглянуть вокруг себя, оторвать глаза от иноземных героев, отвратить слух от чужих рассказчиков, а затем перечесть наши собственные богатства. Большую заслугу русскому обществу оказал бы предприимчивый издатель, который решился бы составить для публики полную библиотеку русских путешествий и путевых заметок за границу. Тогда, быть может, перестали бы мы слышать от русских

людей жалобы на то, что у нас совсем нет книг, занимательных для юношества и соединяющих в себе увлекательное изложение с запасом полезных и положительных фактов. Такие жалобы нас всегда возмущали немного: мы видели в них проявление несокрушимого предрассудка о крайней бедности русской словесности, - предрассудка, к сожалению, еще до сей поры распространенного в тех, так называемых, изящных слоях общества, где господствует французская речь, французский вкус и сопряженное с ними неведение по части отечественного искусства. Как? вы соглашаетесь, что чтение талантливых путешественников есть великое наслаждение, что оно способно увлекать, облагораживать умного юношу - и вместе с тем не хотите вспомнить, что у нас были Головнин⁶ и Рикорд⁷, что путешествие Врангеля⁸ исполнено величайшей занимательности, что о всякой почти стране земного шара имеется хотя одно отличное сочинение, писанное русским, что, наконец, в новой, текущей литературе существуют прекрасные труды, соединяющие интерес содержания с блистательно-литературным изложением? Вы упиваетесь игривыми заметками Дюма во время его переездов по Европе, вы раскупаете "Константинополь" Готье⁹, так что книгопродавцы не успевают выписывать новые экземпляры книги - а между тем остаетесь холодными, когда выходят книги г. Ковалевского или итальянские письма г. Яковлева¹⁰. Вас приводит в восторг Фордов "Путеводитель в Испанию"¹¹ - и вы не хлопчете о том, чтобы собрать в одну книгу "Письма об Испании" г. Боткина. Статьи Габриэля Ферри¹² имели в России успех, перед которым бледнеет успех едва ли не всех наших туристов. И сколько других подобных поклонении чужому можем мы насчитать, если бы того захотели: мы не имеем намерения унижать иноземных путешественников: мы вполне соглашаемся, что чтение

их произведений приносит с собою и наслаждение, и благотворные результаты; но мы сознаем одну истину: никакой, даже гениальной чужестранец не в силах дать русскому человеку того, что ему может дать просто талантливый русский писатель. На этой аксиоме незыблемо стоит значение нашей словесности, тут ее сила и тут ее великая будущность. Народность и самостоятельность каждой литературы держатся на духовной, таинственной, неуловимой связи между самой словесностью и народом, в котором она создавалась. Англичанин пишет для англичан, немец для немца, француз для француза, русский для русского. Лучший ценитель каждому писателю есть его соотечественник; первый наставник каждого читателя есть писатель, ему родной по крови, языку, привычкам, характеру, даже народным недостаткам. Слово, сказанное чужестранцем, льстит нашему слуху, слово согражданина прямо отзывается в нашем сердце. Рассказ бывалого иноземца может нас увлечь и восхитить; но рассказ собрата нашего есть часть собственной нашей жизни. Русский поэт, русский ученый, русский беллетрист, русский путешественник говорят те слова, которые читатель как будто сам хотел сказать; а слов подобного рода с трудом добьетесь вы не от своих мыслителей. Попробуйте замкнуть себя в область одного чужеземного искусства, и вы, если еще не утратили своей проницательности, вскоре увидите себя в каком-то мертвом, условном, узком, пошловатом мире" который будет вас тяготить невообразимо. Мед станет для вас обращаться в полынь, и то создание, над которым чужеземец проливает слезы, покажется вам вялым до последней крайности. Вас будут только шевелить творения мировых гениев (и то только тогда, если вы достаточно развиты для их понимания); поэзия же вседневная, насущный хлеб духовной нашей жизни, утратит всю свою власть над вами. Хотя бы, сознавая

свое ложное положение между двумя полюсами, вы вознамерились отречься от своей народности, прервать всякое сообщение с русским словом, изучить чужие языки до тонкости, вы все-таки не сделаетесь ни французом, ни англичанином, ни немцем; более и более тяготясь своим неловким положением, вы вообще перестанете ценить науку с искусством, а в поэзии и вообще в литературе начнете искать одной минутной забавы. В печальном развитии отдельного лица, дерзнувшего отвернуться от родного слова и родного искусства, нетрудно подсмотреть однородное с ним развитие целых слоев образованного общества, пытающихся жить на чужом слове, чужеземном искусстве и чужеземной речи. Горестно сознаваться в своих недостатках; но к чему служит молчание о них, когда они и без того известны всякому? В нашем обществе, и преимущественно петербургском обществе, есть еще немало количество семейств, воспитанных по-чужеземному - зрелых мужчин, не умеющих думать на русском языке, женщин, считающих русскую книгу за нечто жалкое и недостойное внимания, юношей, не умеющих написать двух русских фраз без двух ошибок. Было время, когда эти люди, отчуждавшие себя от родного слова, считали собственное неведение за вещь изящную, достойную похвалы; против них недаром ратовали русские писатели старого времени, начиная с популярного Силы Петровича Богатырева до недавно скончавшегося романиста Загоскина. Ныне время сделало свое дело, и понятия переменялись. Открыто пренебрегать русским языком, русским писателем, русским художником едва ли посмеет самая модная львица, двадцать раз побывавшая в Париже. Самый избалованный мальчик, исполненный львиных замашек, не решится произнести дерзкого слова о представителях русской науки. Самый настойчивый из старичков, воспитанный на Ривароле¹³ и де-Местре,

едва ли согласится сказать во всеуслышание, что русская литература есть нелепость или что русский человек не в силах сказать на русском языке одной умной фразы. Существует еще последнее предубеждение предубеждение о крайней тяжеловатости нашего языка в применении его к светскому разговору, но и сказанному предрассудку недолго осталось жить. Во многих домах говорят по-французски только из деликатности к двум, трем старичкам, доживающим свой век в полном неведении родного языка. Когда эти старички сойдут со сцены, сойдет с нее и чужая речь, давно всем приевшаяся, а многим и ненавистная. Вместе с ней, мы твердо надеемся, погибнет и последняя защита, за которою кроется равнодушие ко всему отечественному. И тогда, мы надеемся, в обществе не станут повторять слов, так всем нам знакомых: "Мы бы рады читать по-русски, но литература наша так бедна, наши литераторы так мало пишут, и их к тому же так немного!"

Для того чтобы ускорить эпоху возвращения ко всему родному и содействовать здравым потребностям истинно русского читателя, полезно, чтобы сами лица, причастные русскому искусству или русской науке, помогали обществу делу и словом, и советом, и трудами своими. Им не следует восседать на туманных олимпийских вершинах, им еще рано погружаться в одно бесстрастное творчество и творить для одних дилетантов изящного. Русский даровитый писатель должен всегда иметь перед собою изображение Кесаря, одною рукою рассекавшего волны моря, а другою крепко державшего над головой свои комментарии. Надо творить поучая и действовать на читателя развивая его понятия, расширяя их круг, поощряя терпимость и любознательность. Надо жить и мириться с жизнью, высказывать обществу все, что можешь ему высказывать, делиться с согражданами всем тем, чем

только бываешь в состоянии с ними делиться. Пуще всего надо иметь в виду юное поколение читателей, будущих ценителей русского слова, будущих ревнителей нашей науки. Не стыдитесь писать для юношества, не стыдитесь забавлять поучая, не уклоняйтесь от роли доброго наставника: и Карамзин и Пушкин были настолько же наставниками современников, насколько они были служителями Аполлона. Вследствие всего нами сейчас сказанного, читатель легко поймет, почему мы так ценим даровитых русских путешественников, почему мы радовались и радуемся появлению таких сочинений, как "Русские в Японии" г. Гончарова. Как бы хотелось нам поскорее видеть новые издания Головнина, Рикорда и Врангеля! как бы радушно встретили мы новое отдельное издание многих других статей о России или чужих краях, за последнее время печатавшихся в "Морском сборнике" или "Вестнике Географического общества"! Вот труды истинно похвальные, сочинения полезные для всех читателей, но в особенности полезные для юношей того возраста, которому еще не совсем доступна чисто изящная сторона словесности. Зачем кто-нибудь из деятельных издателей не задумает "Библиотеки русских путешествий и путевых рассказов"? Как разошлось бы все издание, как благодарна была бы публика за все предприятие, как зачитывались бы наши юноши рассказов невыдуманных, но увлекательных до крайности! как переносились бы они в отдаленные страны, как поняли бы они, на пользу себе, геройски-простодушный рассказ пленника Головнина или мастерской слог г. Гончарова, в одно время простой и изящный, картинный и безукоризненно правильный.

Г. Гончаров, автор "Обыкновенной истории" и книги, в настоящую минуту находящейся перед нами, есть путешественник, из всех путешественников наименее

похожий на путешественника. В этом его сила и оригинальность, в этом самостоятельность и очарование всех его путевых заметок. В наше время, когда всякий новый турист, разлучаясь с родным краем, так сказать, преднамеренно отрывается от своего прошлого затем, чтобы ринуться в пучину ожидающей его новизны, когда жажда приключений и новых мест увлекает многих даровитых писателей в сферу сильной практической деятельности, большая часть путевых заметок (и самых удачных по исполнению) имеет в себе нечто чересчур яркое или, лучше сказать, лихорадочное. Читая подобные книги, увлекаясь разнообразием событий, в них изложенных, читатель нередко чувствует неприятное напряжение в своем собственном разуме. Личность туриста часто подавляет личность читателя, а от того нарушается духовное сродство, так необходимое между тем и другим. Пусть кто-нибудь попробует прочесть без отдыха ряд рассказов Ферри о мексиканских бандитах или искателях золота; пусть найдет любитель чтения, способный засидеться долго над охотничьими приключениями знаменитого Корнваллис-Гарриса. Как быстро наше воображение утомляется всей этой бурной деятельностью, этими пестрыми сценами, этими войнами и убийствами, этими тиграми и дикарями, одним словом, всей тревожно пламенной жизнью, так отдаленною по всему от наших собственных привычек! Дивясь многим из туристов-авантюрьеров, читатель все-таки видит в них каких-то чудаков между людьми, тревожных скитальцев, как будто презирающих наше тихое, оседлое общество. Даже любя их, как братьев, он все-таки видит в них братьев беспокойных и шумных, не связанных с ним по праву и привычкам, братьев, вечно шатающихся вдали и только на мгновение приезжающих под родное небо, для них ставшее как бы чужим и скучным. Всякий из нас привык чтить великого

путешественника, открывшего новые страны, занесшего в глубину неведомых земель светильник просвещения. Всякий из нас, читателей, благоговейно вспоминает имена Кука¹⁴, Ла-перуза¹⁵, упрямого Мунго-Парка¹⁶, бесстрашного Брука Саравакского; но воображаем ли мы себя когда-нибудь на месте Кука и Лаперуза? видим ли что-нибудь общее между нами и Бугенвилем?¹⁷ Понятен ли нам героизм Мунго-Парка, проникавшего несколько раз в глубину мрачайших стран Африки и наконец кончившего там свою жизнь, исполненную высших испытаний? Согласились ли бы мы, на месте раджи Брука, объявить войну морским разбойникам Малайского архипелага, вести ее своими средствами, истреблять пиратские гавани, убивать хищников тысячами и, кончив кампанию, удалиться на полудикий остров, где убийство считается похвальным делом, а истязание пленника геройским подвигом? Сочли ли бы мы за удовольствие, по примеру майора Гарриса, выше поименованного, водить в бой черные войска африканского короля с неудобопроизносимым именем, драться впереди своих черномазых сподвижников, покорять страны и одерживать победы над другим невинным черным племенем? Нашли ли бы мы какое-нибудь наслаждение во всех этих кровопролитиях и победах, оканчивающихся убийством пленных и людоедством? Приятно ли бы нам было проехаться с каким-нибудь новейшим туристом по стране удавителей в Индии или ассасинов в Сирии, выискивая ужасных впечатлений и напрашиваясь на встречи с убийцами-фанатиками? Если б нам серьезно предложили путешествовать таким образом и знакомиться с ужасами, выше изображенными, каждый из нас с трепетом отшатнулся бы от предлагаемой ему перспективы! А для лучших туристов, из числа людей, занимающих досуги наши, вся эта бродячая жизнь, с опасностями и кровью, змеями и тиграми, пиратами и

людоедами, есть вечный праздник, поприще, вполне достойное разумно-деятельного европейца. Вследствие того, от разности воззрений сочинителя и его читателей, связь между обеими сторонами как бы обрывается, а сами туристы, подобные Бруку, Гаррису, Геферу, Куку и Байрону, относятся публикою в разряд личностей могучих, но исключительных, - личностей, настолько же к нам подходящих, насколько, например, подходят к нам личности Аякса, Диомеда, Ахиллеса и Гектора. По неимению духовного сродства между автором и читателем знаменитейшие и правдивейшие путевые рассказы читаются как нечто придуманное, мастерски сочиненное, увлекательно построенное, невероятное, странное, полуфантастическое. Читатель, заседа в своей покойной комнате, перед теплым камином, не имеет духа вообразить себя в коже Дельторга, убийателя тигров, или капитана Росса¹⁸, прокладывающего никому не ведомый путь посреди ужасов ледяного Океана. Такие усилия, такие страдания, такие опасности, такие подвиги непомерной деятельности не по плечу нашим собственным средствам. Ум наш смущается под влиянием рассказов, так ему непривычных. Наша фантазия или воспламеняется больше, чем надо, или утомляется ранее времени. Удивленный, пораженный и подавленный, читатель скорее поддается усталости, а книга, так недавно его увлекавшая, теряет в его глазах большую часть своей прежней прелести.

Зато как привязывается читатель скромных привычек к сочинениям туристов другого рода, - туристов, сходных с ним по привычкам и воззрениям, - туристам простым и спокойным, как он сам! С ними он сродняется быстро, на их месте воображает он сам себя, читая их книгу, он не дивится или увлекается, а путешествует вместе с своим автором. Можно сказать утвердительно, что туристы по призванию, туристы

неутомимые и неукротимые, завоеватели дальних материков, истребители змей и львов, любители потрясающих ощущений, бессмертные Синдбады из "Тысячи одной ночи" вполне любезные лишь небольшому классу читателей - специалистов или людей с неутомимо-неукротимым духом, подобным духу, их одушевляющему. Полная популярность и тихая, но общая симпатия читающего мира достаются и путешественникам другого рода - путешественникам не по призванию. Туристы случайные, вызванные на действительность ходом обстоятельств своей жизни, гораздо более говорят уму и сердцу читателя. Из их семьи вышли люди, невзначай получившие славу, и какую еще славу! Каждый из этих людей отправился за одним и привез другое, каждый поехал путешествовать как бы неохотно, каждый оглядывался на родную сторону и мечтал о ней под чужим небом, и по временам рвался домой, и, возвращаясь к своим друзьям (если ему удавалось возвращаться), не помнил себя от радости. Каждый из них не имел в виду напряженной деятельности, и если видал что-либо потрясающее, то видел его так, как мы бы сами видели то же самое, то есть ужасаясь, потрясаясь и потому уже становясь хладнокровным. С подобного рода туристами сладко беседовать: их книги прямо говорят воображению нашему и будто вызывают читателя на то, чтобы он смело поставил самого себя на место рассказчика. В семье путешественников, о которых мы говорили, можно насчитать множество имен, навеки незабвенных для мыслящего человека. В ней найдем мы вместо туристов по призванию, вместо бурных деятелей, которым не живется дома, людей из всех сословий общества, людей, развившихся под одинаковой с нами звездой, одушевленных страстями, нам близко знакомыми. Тут увидим мы и кроткого епископа Гибера¹⁹, столько лет прожившего на

дальнем Востоке, посреди своей паствы, натуралиста Виктора Жакмона²⁰, поехавшего в Индию для специальной цели, но невзначай сочинившего увлекательнейшие записки об английской Индии, и леди Мери Монтегью²¹, которая попала в Константинополь оттого, что ее муж служил там посланником, и Герштеккера²², выгнанного бедностью из родного края, и странного, но талантливое чудака Пюклер-Мускау²³, предпринимавшего свои поездки из причин совершенно противоположных, то есть от пресыщения жизнью. К этой даровитой свите следует причислить многих русских путешественников, даже значительное их большинство, ибо русский человек не любит путешествовать с целью отыскания сильных ощущений, а если едет в далекий край, то едет туда по службе, по делу и, наконец, для собственного образования. В нашем родном крае почти невозможны раджи Бруки, Гаррисы и даже Герштеккеры. Нам не тесно дома, и собственная наша отчизна представляет слишком много интереса для людей, желающих служить ей по мере своих сил. Русский воин не поедет устраивать полки короля ашантиев, и русский моряк не захочет водворять порядка на водах Малайского архипелага. Сверх того, северному человеку никогда не льстит деятельность, особенно тревожная; он почти всегда любит свой угол и знает, что если иногда не мешает быть в гостях, то своего собственного дома забывать никогда не следует. Оттого между нашими соотечественниками почти не имеется туристов по страсти, - туристов, неспособных быть чем-либо на свете, кроме туристов. Господин Гончаров, как мы уже имели случай сказать, похож на туриста гораздо менее, нежели все остальные русские путешественники. Оттого он оригинален и национален, оттого его последняя книга читается с великим наслаждением. Для того чтоб яснее передать впечатление,

произведенное на нас сочинением "Русские в Японии", мы попросим позволения сказать несколько кратких слов о всей предыдущей деятельности господина Гончарова, как одного из замечательнейших современных писателей.

Всякому любителю русского искусства, без сомнения, вполне памятен успех двух беллетрических произведений нашего автора - романа "Обыкновенная история" и эпизода "Сон Обломова". Оба произведения, утвердив за г. Гончаровым известность замечательного писателя, получили от нашей критики множество похвал и несколько замечаний, как нам кажется, не вполне справедливых. Из заметок менее благосклонных стоит упомянуть об одной, недавно высказанной, в которой критик, нами уважаемый и, по временам, весьма проницательный, упрекает автора "Обыкновенной истории" в сухо-сатирическом направлении и пристрастии к излишнему отрицанию в жизненных воззрениях²⁴, что почти равносильно отсутствию всякого идеала в жизни, во взгляде на действительность. Отзыв этот, как кажется, тем более важен, что мы сами смотрим на дарование г. Гончарова с точки зрения, диаметрально противоположной. Все, что есть в нашем авторе сатирического и отрицательного, кажется нам только частностью, временным и случайным видом его дарования, украшениями общего здания, но никак не капитальной его собственностью. Как живописец и член того общества, где сатира и отрицание имеют свое место, как русский человек, для которого красное слово всегда любезно, Гончаров любит юмор и воспроизводит его в своих сочинениях; но он не жертвует ему своими воззрениями и убеждениями, не доводит его до тех пределов, которые несовместны с его собственным, авторским взглядом на вещи. Напротив того, наш автор, не чуждый сатиры, даже иногда переходя на сторону

лиц насмешливых и чрезмерно положительных, никогда не отклоняется от своей собственной дороги, смело и честно держась за все, что кажется ему милым, любезным, благородным и поэтическим. Взяв талант Гончарова не по частям, не по страничкам, а во всей массе его произведений, мы не обинуясь называем его талантом самостоятельным, положительным, в здравом смысле слова, высказывающим то, что надобно высказать, независимым в своих проявлениях, поэтическим в своей оригинальности. Мы признаем автора "Обыкновенной истории" поэтом настоящим, важным по своему направлению, поэтом, еще не вполне высказавшимся, но истинно обильным надеждами. Подобные люди, если их явится достаточно, разъяснят нам всю поэзию русской жизни, украсят житейскую действительность светом чистого искусства и оставят по себе вечный след в потомстве. Мы никак не скажем, чтобы г. Гончаров проложил новые пути в искусстве: новых путей нам пока не надобно. Старые пути, проложенные Пушкиным и Гоголем, нуждаются еще в разработке, и какой разработке! Направление нашего автора в ином совпадает с направлением Пушкина; несмотря на разность дарований и изложения, ни один из романов, написанных по-русски, не подходит к "Евгению Онегину" ближе "Обыкновенной истории". В обоих произведениях видим мы ясную, тихую, светлую, но правдивую картину русского общества, в обоих русская природа изображена превосходно, в обоих действуют русские люди в их спокойном, повседневном состоянии, в обоих разлит один примирительно-отрадный колорит, в обоих нет ни лести, ни гнева, ни идиллий, ни преднамеренного свирепства, ни утопии, ни мрачных красок. Г. Гончаров воспитан на Пушкине и предан его памяти, как памяти отца и наставника. Но натура его, совершенно отличная от пушкинской натуры и замечательная сама по себе, обуславливает

различие между поэзией обоих писателей. Оттого в "Обыкновенной истории" и нет ничего заимствованного, придуманного, подражательного. Надо изучать "Сон Обломова" и "Обыкновенную историю", надо думать много о ходе нашей родной словесности, чтобы понять важность Гончарова как писателя, чтоб оценить духовную его энергию, от которой мы ждем многого и весьма многого. Из сочинений нашего автора мы извлекаем мысли такого рода. Я русский писатель, говорит нам г. Гончаров, и, сознавая себя лицом здраво-практическим, вменяю себе в обязанность действовать там, где судьба меня поставила. В простой, тихой, жизни, которую в моде называть пошлой и бесцветной жизнью, вижу я не одну пошлость и не одну бесцветность. Эта жизнь удовлетворяет меня, умного и даровитого человека, значит, в ней есть поэзия, есть сторона положительно привлекательная и заслуживающая бесконечного изучения. Я вижу тонкие и милые черты там, где угрюмые умники ничего не видят. Природа северная, природа, над которой принято величаво смеяться, действует на меня отрадно, может быть, отраднее, нежели вид тех чудес природы, между которыми не я родился. В незначительных привычках городской тихой жизни способен я находить прелесть. Я умею привязываться к этим привычкам, значит, они не так незначительны, как о том думают многие. Иные предметы, милые многим нашим поэтам, вовсе мне не милы. Ни мизантропические умствования, ни карающий юмор, ни стремления к утопиям, ни хитрые обобщения, ни величавые воззрения, ни преклонение перед великосветским дендизмом меня нимало не трогают. Я не вполне верю в перл создания и говорю о том откровенно. Священная буря вдохновения, облекающая чело провозвестников будущего, мне кажется фразою, придуманною в момент раздражения нервов. Может быть, у меня недостает чутья

относительно одной стороны искусства, но я чую жизнь, истину и поэзию там, где никто ничего не чувствует. Я прямо и простодушно передаю свету мои открытия, мои наблюдения: пусть свет решает, прав ли я, и хорошо ли я делаю, крепко держась за окружающую меня действительность. Если в том, что я высказываю моими сочинениями, нет поэзии.. эти сочинения успеха иметь не будут. Если их прочли и оценили, значит, я не сбился с дороги и могу развивать свое направление с большею против прежнего смелостью. И я пойду впредь по своему пути и буду черпать вдохновение из источников, меня окружающих, и стану действовать в той среде, в которую я поставлен судьбою. Я намерен смотреть на русскую жизнь с той самой точки зрения, против которой неумоимо свирепствовали все любители отрицания. Я люблю прозу жизни оттого, что способен видеть в ней нечто большее, чем проза. Мне милы тихие картины чисто русской природы, и мои сочинения покажут, почему эти картины мне милы. Я понимаю поэзию жизни в простых, обыденных событиях, в нехитрых привычках, в страстях самых немногосложных. Меня пленяет то, что до сих пор не пленяло почти ни одного русского художника: я умею говорить от сердца о скромных интересах петербургского чиновника, о философии положительного мудреца Петра Ивановича, о первой любви никому не известной барышни, о крошечных драмах, совершающихся где-нибудь за чайным столом, или в палисаднике петербургской дачи, или за дверью такого-то департамента, или на темной лестнице высокого каменного дома. И это еще не все: дайте мне времени и слушайте меня со вниманием, я сообщу вам нечто еще более новое. Я перенесу вас когда-нибудь в затишье маленьких русских городков, в запущенные сады одиноких помещичьих усадеб, в маленькие деревянные домики, наполненные самым прозаическим

народом; я поведу вас гулять по сереньким русским полям, по маленьким холмикам и оврагам, по местности, которую даже первые наши поэты до сих пор вам обрисовывали как нечто не стоящее изображения, двумя, тремя небрежными штрихами. У меня не будет небрежных штрихов, я не признаю людей и пейзажа, не стоящих описания. Там, где живет и действует человек, одаренный силою таланта, все стоит описания, все располагает к жизненной поэзии!

Мы не знаем наверное, имеет ли г. Гончаров охоту к живописи; но нам кажется, что он должен высоко ценить, вполне понимать великую школу фламандских художников. Наши критики одно время любили уподоблять того или другого из русских писателей фламандскому художнику; но сравнения подобного рода были ложны, ибо вертелись на внешнем сходстве сюжетов, никогда не углубляясь в сущность вопроса. Измайлова²⁵ сто раз называли Теньером²⁶, Буткова²⁷, кажется, равняли с Остадом²⁸, как будто бы фламандский живописец потому только фламандский живописец, что он изображает пьяных мужиков или кухни в тавернах. Не в том значение гениальных голландцев, не за изображение пирующих гуляк мы их любим, не из-за сходства сюжетов готовы мы признать г. Гончарова едва ли не единственным современным писателем, имеющим нечто общее с великими деятелями фламандской школы живописи, тождество направления, великая практичность в труде, открытие чистой поэзии в том, что всеми считалось за безжизненную прозу - вот что сближает Гончарова с ван-дер-Нээрром²⁹ и Остадом, что, может быть, со временем сделает его нашим современным фламандцем. Может быть, мы высказываем наше мнение слишком горячо; но в этом еще не имеется большой беды, - и мы будем продолжать начатую речь. Нам кажется, что автор, написавший "Обыкновенную

историю" и "Сон Обломова", имеет полное право пойти в галерею императорского Эрмитажа, остановиться посреди комнаты, наполненной великолепнейшими произведениями мастеров фламандцев, кинуть вокруг себя радостный взгляд и просветлеть духом. В такую минуту он должен чувствовать себя художником вполне, вполне наслаждаться творениями художников, сродных ему по духу, их одушевлявшему, и произносить незабвенные имена Остада, Миериса³⁰, Теньера, Дова³¹, ван-дер-Нэера, Гоббема³² и ван-дер-Вельда³³, как имена великих, но родственных деятелей. Эти люди, сейчас нами названные, мирно жили в своих углах и действовали кругом себя, не порываясь вдаль из своего уединения. Они находили поэзию положительную в прозе обыденной жизни; недовольство своей средою и неизбежное с ним отрицание не затмевали их светлого рассудка. Эти люди застали свой родной, ровный и болотистый край почти без артистического развития; а после их трудов каждый сколько-нибудь развитый европеец считает для себя стыдом не понимать всей поэзии старой Голландии. Эти люди, по-видимому, должны были задохнуться в жизненной прозе, под серым небом, посреди природы, не поражающей наблюдателя ни одним чудом, в кругу флегматических сограждан, некрасивых по виду и не страстных по натуре. Последний ученик светлой итальянской школы, последний гражданин прелестной Италии, если б ему в старое время пришлось проехать по Голландии до периода ее великих художников, сказал бы про всю страну с усмешкою: "Где тут явиться хоть какому-нибудь артисту!" А между тем артисты явились. То были люди вовсе не эффектные и не пламенные: каждый из них показался бы диким и неуклюжим в обществе учеников Бенвенуто Челлини или изящных мальчиков в золоте и бархате, растиравших краски в мастерской

Рафаэля Санцио. Но в флегматических живописцах, никуда не выезжавших из Гааги, Амстердама или Лейдена, жила энергия северных художников, светилось понимание жизни и природы, даже в неуловимейших их таинствах. Они стали работать так, как работают северные люди - с честностью, гениальным упорством и бессознательной верой в свое призвание. Они не ходили далеко за сюжетами: все предметы под божьим солнцем казались им хороши, ибо для здорового человека все здорово, и для поэта истинного поэзия разлита во всем мире. Странны показались бы их труды современному итальянцу или французу-художнику, если б он смотрел на них, не имея в виду общей связи во всей школе, а только поражаясь новостью направления и поверхностною прозаичностью замысла! Для чего такой-то мастер пишет старую женщину с кошкой, имея возможность написать красавицу с розаном? Из-за каких соображений этот пейзажист так любит мельницы у болотистой речки? Какое нам дело до этих старых городских улиц и пьяных уродов, пляшущих на площади! Разве нельзя было придумать чего-либо более изящного, драматического или, по крайней мере, грациозного? А фламандцы все шли своим путем, не жертвуя ни грациям, ни Аполлону, по временам доходя до смешного в реализме, рисуя Адониса со своих толстых лакеев, не жалея красок на изображение баранов и свиней, убитой дичи и морщинистых кухарок за пучком луку! Какая-то мысль сидела в этих упрямых толстяках-артистах; нельзя же было предположить, что они преднамеренно отворачивали очи от идеала, не знали о существовании стройных нимф, скал и каскадов, бессмертных мадонн, повергающих зрителя в благоговение, Тициановых красавиц, списанных с аристократок старой Италии! Фламандцы все знали, все

понимали и все-таки имели силу остаться фламандцами.

"Я здесь родился, я здесь и пишу!" - сказал один из них, всю жизнь просидевший в одном и том же городе, в одном и том же доме, в одной и той же комнате! Конечно, он был не безусловно прав, конечно, всякий артист, имеющий ноги, обязан видеть кое-что и кроме своего муравейника; но разве вы не хотите допустить того, что клочок земли, вами ветрено принятый за муравейник, может быть целым миром для существа более талантливое и внимательное, чем вы сами? Есть своя громадная сила в практичности направления, в стремлении действовать вокруг себя, в здравом понимании природы и людей, вас окружающих. Будьте разумны, учитесь и снисходительнее говорите о самом муравейнике, мимо которого вы проходите, даже не удостоив его взглядом. После вас может прийти к муравейнику человек, более сильный, чем вы, человек, знающий естественные науки, изучивший нравы насекомых. С своей трубой или микроскопом он просидит часы над муравейником и не заметит этих часов, и в его мыслях маленький муравей будет, быть может, гораздо интереснее боа-констриктора, умеющего только наесться и заснуть на солнце до окончания пищеварения.

Вернемся же в последний раз к фламандцам-художникам и посмотрим глазом нам современного человека на все ими сделанное. Во-первых, они прославились прочною славой - обстоятельство весьма важное, ибо слава то же, что солнце: она не дает нам самого предмета, но, озаряя его своим ярким светом, помогает нам различать его во всей подробности. Каждый артист должен быть славолюбив, так как его собственная слава есть прямая выгода всей его родины. Завоевав себе почетное место в области искусства, фламандские художники сделали для своей родной

стороны то, чего не сделали бы ни торговля, ни законодательство, ни политика края. Через их упорный и честный труд, ровная, болотистая, туманная Голландия, Голландия старого времени известна нам всем лучше, нежели та улица, в которой мы провели свое детство. Вся поэзия края, с его морем и плотинами, его тучными лугами, каналами и мельницами, его древними городами и селениями, в которых живет полное довольство жизнью, - вся его поэзия раскрыта перед нами, разъяснена нам до тонкости. Зная фламандскую школу живописи, мы знаем целую историческую эпоху народа, так много сделавшего для цивилизации, - народа самостоятельного и странного, счастливого и практического. Мы сами будто жили за два века назад, в городах, пересеченных каналами, в величавых древних зданиях массивной архитектуры, близ ратуш и соборов, оживленных пристаней и загородных домиков с подстриженными садами, собраниями тюльпанов и раскрашенными статуями. Мы принимали участие в общественной жизни фламандца старых времен, присутствовали в собраниях синдиков, облеченных в черные мантии, встречали победоносные эскадры под родным флагом, сидя на белой вувермановской лошади, отражали нападение французской конницы, приветствовали железного штатгальтера Вильгельма и поздравляли его с счастливым окончанием тяжелой кампании. Мы охотились за оленем с толпою знатных особ, удостоивали нашим посещением народные пиршества, смеялись от души, глядя, как хозяйка таверны выгоняет метлой напившегося буяна и как толстые ребяташки составляют свой собственный хоровод, неподалеку от места общей пляски. Мы бывали в богатых и бедных домах, входили всюду, начиная от уборной красавицы до кухни в гостинице, до приютов еще более прозаических. Мы слушали орган в церквах, мы сами

играли и пели в старых, сердцу милых комнатах, украшенных древним фарфором, шкалами из черного дуба и серебряными люстрами, немного похожими на больших морских пауков с крючковатыми ногами. Как знакомы нам эти белокурые женщины в платьях из серебристой материи, юноши с полными лицами, в кафтанах яркого цвета, медики в темных мантиях и кружевных фрезках, и старухи ключницы, и пузатые алебардисты, и дети в претолстых сапогах, и дорожные люди верхом, в испанских сомбреро, и веселые старики с красными носами, и точильщики и пехотинцы, и цирульники, и конюхи, и самые лошади, и самые бараны, и самые собаки старой Голландии! Кто же доставил нам все это знакомство, кто переносил нас, будто на волшебном ковре, за столько лет назад, в невиданную нами сторону? Кто уловил и обессмертил быт старой Голландии, сделал его как бы нашим родным, с любовью пережитым бытом? Небольшое собрание людей, с утра до ночи сидевших за полотном, кучка людей с образованием весьма односторонним, но людей, одаренных энергиею и хорошо понимавших свое призвание! Что осталось от Рюйтера, прицепившего метлу к мачте своего победоносного корабля? Кто помнит имена полководцев, встречавших лучшие полки короля Людовика XIV, храбрых и достойных воинов, положивших свою жизнь за независимость Голландии? Кого интересует история лейденских врачей и лейденских философов? Что осталось от первых банкиров и первых торговых домов Амстердама? Вся эта слава, весь этот труд, все это геройство, все эти богатства - где они теперь и кто о них заботится? И, несмотря на то, поэзия Голландии живет в сердцах наших. Ван-дер-Нээр пишет мельницу и канал при свете луны - вот вам поэзия фламандской природы. Теньер изображает сельскую попойку, Жерард-Дов вводит вас во внутренность богатого городского дома, и вот вам

люди, вот вам весь быт их родины! Дивная сила искусства чистого, невыразимое волшебство, совершенное людьми, для него призванными, угадчиками поэзии!

После всего нами сказанного мы надеемся, что мысль наша о некоторой тождественности в направлении г. Гончарова, русского писателя, с направлением великих художников фламандской школы будет хотя сколько-нибудь понятна нашим читателям. Просим их не взыскивать с нас за слишком лестную сторону сравнения: мы никогда не считали себя критиками-подлипалами и захваливать современных писателей никогда не умели. Мы глубоко ценим дарование автора "Обыкновенной истории", вполне уверены, что как его труды, так и труды однородных с ним талантов должны вести к завидному результату, то есть к разъяснению поэзии в нашей обыденной, настоящей, простой русской жизни, но тем не менее мы еще не ставим нашего талантливое товарища на одну доску с Миерисом, ван-дер-Нээрром и Жерард-Довом. Деятельность г. Гончарова недавно началась, он еще входит в те года жизни человеческой, когда творческие силы проявляются во всей своей красе и когда писатель вполне сознает свое направление. Г. Гончаров, как мы уже заметили, не пробивал новых путей в искусстве: все наши замечательные поэты, в особенности Гоголь и Пушкин, подготавливали его развитие и по временам даже мешали его самостоятельности. Ранее Гончарова и в одно время с ним появлялись писатели, вперявшие пронизательный взор в тайники вседневной поэзии, мирившиеся с действительностью, вносявшие луч поэзии в те уголки нашего быта, где все казалось до них темным и непривлекательным; но эти соображения не уменьшают ни заслуг, ни самостоятельности нашего автора. Он любит своих учителей и предшественников, даже

иногда робеет перед их авторитетами, но в глубине души всегда остается самим собою. При своей уклончивости он умеет быть упорным, под личиной уступчивости скрывая энергию, не продавая своего собственного мирозерцания ни за какие похвалы, ни за какие умствования. Крепче всех современных деятелей держится он за действительность, прошедшую сквозь призму его собственного разума, расцвеченную всеми цветами его собственной, душе практического поэта принадлежащей фантазии. По мере своих трудов и успехов г. Гончаров сделается еще самостоятельнее и еще независимее от теорий, несовместных с его взглядом на свое дело. В наше время, когда еще отрицательная критика имеет силу в литературе, писатель, написавший "Сон Обломова", будто совестится признаться перед ценителями, что безмятежные картины нашей русской жизни влекут его к себе с непреодолимою силою. Но пройдет еще немного времени, и г. Гончаров, сознав всю свою силу, забудет и о старой критике, и о духе отрицания, и о художественных парадоксах. Нашему поэту необходимо поближе ознакомиться с собственным направлением, признать законность своей артистической самостоятельности и затем сделаться истинным художником - фламандцем, с полной верой в свое призвание. Всякое уклонение от мирных отношений к окружающей его действительности, всякая уступка моде или прихотям отрицательной критики, всякое колебание в виду не вполне сознанной цели только могут повредить будущности г. Гончарова, как писателя. Он должен помнить, что по отношению своему к действительности он опередил едва ли не всех своих товарищей. Его направление нам любезно и понятно, оттого и наши надежды на г. Гончарова весьма велики. Пусть же он смело рисует нам картины, милые его сердцу, пусть он без всякой задней мысли,

радостно погружается в затишье столичной и провинциальной прозы, пусть он истолковывает нам поэзию крошечных городков, ровных полей и сонных вод нашего родного края. Великие фламандцы имели перед собой природу не богаче нашей русской природы, быт, их вдохновлявший, нисколько не пестрее нашего обыденного тихого быта.

Мы еще недавно выяснили перед самими собою значение и направление таланта, подарившего нам "Сон Обломова" и "Обыкновенную историю", а потому, быть может, наша оценка имеет в себе кое-что парадоксальное. Но во всяком случае она искренна и сверх того выработалась мало-помалу, медленно и, по возможности, осмотнительно. В то время еще, когда г. Гончаров оставлял Петербург для плавания с нашей эскадрой к берегам Японии, мы от души жалели о том, что целый мир новых занятий и новых впечатлений, став между автором и средой, так близкой к его дарованиям, до некоторой степени отобьет его от той дороги, которая расстилалась перед ним, как романистом и повествователем. Мы не сомневались в том, что путевые его заметки будут увлекательны и отлично изложены, что много других выгод принесут автору "Обыкновенной истории" его долгое путешествие, вид чуждых стран, созерцание чудес великолепной природы. Но со всем тем общий результат поездки нас будто утешал, и в памяти нашей невольно возникали статьи о живописце сэре Давиде Вильки³⁴, потерявшем несколько лет жизни и бросившем свой обычный, прославивший его род для отдаленных поездок с целью изучения исторической живописи. То, что случилось с сэром Давидом, великобританским фламандцем, творцом картин "День арендной платы" и "Обрезанного пальца", весьма могло произойти с г. Гончаровым. Лихорадка туриста могла напасть на нашего писателя, воспламенить его кровь,

увлечь его ко всему яркому и поразительному, разрознить его с тихим колоритом тихого русского быта, охладить его к северной природе, навсегда перервать цепь микроскопических наблюдений, так важную для его таланта. От микроскопа к телескопу переход бывает опасен: глядя на луну и звезды, легко можно забыть о том мире, который живет и копошится под ногами нашими. Бесспорно, в ученические годы литератора необходимо хорошее путешествие по свету; но г. Гончарова невзирая на его малую производительность, никто не способен был считать учеником или литератором начинающим. Вследствие всех вышеизложенных соображений мы с тревожным чувством ждали первых путевых заметок нашего автора и, когда они появились в печати, перечли их с большим волнением, пытаясь распознать фазу, как отразились на г. Гончарове года новых впечатлений, так сильно действующих на направление каждого дарования, даже крайне самостоятельного и вполне окрепшего.

К крайнему удовольствию нашему с первых страниц труда мы успели выяснить себе много утешительных заключений. Во-первых, как уже было сказано нами, автор путевых рассказов, напечатанных в "Морском сборнике" и "Отечественных записках", явился нам путешественником, весьма мало похожим на путешественника. Прежний Гончаров, петербургский романист, историограф молодого Адуева и живописец мирной Обломовки, остался прежним Гончаровым и на острове Мадере, и на Ликейских островах, и в Нагасаки, и в Шанхае, и в гостинице японского полномочного, и на палубе русского военного корабля. Пламень беспокойной деятельности не привился к нему, так же как не привились к нему жажда новизны, эффектность манеры - эти две вечные особенности каждого туриста по призванию. Делая свое дело, путешествуя с пользою, рассказывая все виденное самым живым образом, наш

автор не получил никакого стремления быть раджей Бруком или Корнваллис Гаррисом. Он осмотрел десять новых мест и тысячи нового народа с участием умного критика, прослушавшего отличную оперу, насладившегося чувствами Артура и Джизельды, пожалуй даже пролившего слезу в патетических моментах поэмы, но тем не менее поспешившего с наступлением позднего часа надеть шубу, уйти домой и сесть за обычные свои занятия. Если бы потребовалось заменить только что приведенное сравнение другим сравнением, то мы могли бы сказать, что г. Гончаров посреди Японской империи и под тропиками совершенно походил на женатого человека, отчасти из любопытства, отчасти по делу явившегося на блестящий бал, где молодежь кружится и наслаждается, ищет себе невест и утомляет себя напряженной деятельностью. Женатый гость доволен и счастлив, что не мешает ему мечтать о своем доме, о своем тихом уголке и о часе отдохновения. Ему нечего хлопотать и искать молодых собеседниц, у него есть своя жена, своя преданная подруга, своя Эгерия³⁵, своя Муза. Муза г. Гончарова, родившаяся на русской земле, сжившаяся с тихой русской жизнью, не покидала его в путешествии, и он не только не тяготился ее присутствием, но с наслаждением сознавал ее присутствие. На многих отлично развитых ценителей эта верность г. Гончарова своему старому призванию даже действовала не совсем приятно: им постоянно грезился, между бананами и камелиями, ананасами и виноградниками охлажденный петербургский житель с немного нахмуренным лицом и вечными воспоминаниями о далеком севере. Подумав немного, они примирились с тем, что их затронуло как будто неприятно. И нельзя было не примириться. Не из охлаждения, не из узкости взгляда Гончаров оставался петербургским человеком посреди чудес роскошной

природы, под звездами огромной величины, под сапфирным небом: он был верен своему воззрению, своему краю, поэзии своего сердца, смыслу своего таланта. Под охлаждением скрыта любовь, и в том, что на поверхностный взгляд казалось вялостью, крылась энергия, - та энергия, за которую мы так любим художников-фламандцев.

Рассудив обо всем этом, мы без труда уверились, что в путешественнике нашем сохранился во всей целости прежний романист Гончаров, прежний живописец вседневной русской жизни. Действительность впечатлений не развлекла даровитого писателя, напор новых предметов и мыслей не отбил его от того мира, в котором Гончарову было суждено родиться и действовать. Посреди новых сцен и новой природы не ослабели его старые воспоминания; напротив того, поэзия тихого, отдаленного севера сделалась для Гончарова как бы еще понятнее, еще привлекательнее. Без всякой заранее заданной мысли, по одному складу своего ума и своих привычек, он создал вокруг себя маленький обломовский мирок, совершенно русский, весьма милый, привлекательный и временами очень забавный.

Наблюдательность путешественника, устремленная с любовью ко всему тихому, спокойному, нашла себе обильную пищу в самой прозе путешествия, в медленных периодах плавания, в штиле и однообразной стоянке, в долгих беседах за столом кают-компаний, в нравах добрых матросов, в домашнем быту военного корабля и его населения. Едва рассеялось в г. Гончарове первое смятение, неразлучное с радикальными переменами образа жизни, он поспешил взглянуть вокруг себя прежним проницательным взглядом, разглядеть все достойное наблюдения на корабле, обзавестись ничему не удивляющимся денщиком Фадеевым, хладнокровно сообщавшим, что

"какие-то голые люди приехали и подали на палке бумагу", и очень полюбить серого Ваську, отличного и доброго кота, весьма не любящего пушечных выстрелов. Таким образом, бессознательно повинувшись влечению собственной своей натуры, автор книги, теперь находящейся перед нами, сразу завоевал себе сочувствие читателя, дав ему полнейшую возможность вообразить самого себя на месте путешествующего романиста. Фадеев, кот Васька и другие подобные им персонажи с первого раза убедили нас, что мы имеем дело не с Герштеккером и Ферри, людьми без родины и привычек, а с нашим родным братом по жизни и отечеству, с тем самым художником, который умел написать великолепнейшие страницы о том, как вся Обломовка спит после обеда и как мухи, утопающие в кружке квасу, начинают сильно шевелиться, когда их отодвинут к краю этой кружки. Первый шаг сближения между автором и его публикой был произведен блистательно. Лица, желающие одного развлечения в легком чтении, удовлетворились превосходным рассказом и увлекательностью заметок, между тем как читатели более взыскательные, ценящие в г. Гончарове поэта, поистине обильного надеждами, с удовольствием удостоверились в целостном единстве его направления. Ценители же, склонные заглядывать в будущее, критики-фантазеры и угадчики могли сказать друг другу с полной достоверностью, что любимый их писатель, не довольствуясь одними рассказами путевыми, по всей вероятности, посвящал многие часы тропических вечеров обработке какого-нибудь нового произведения в его старом, так хорошо нам известном вкусе.

В нашем журнале было уже говорено о содержании и достоинствах книги, нами теперь разбираемой³⁶; занимательности рассказа и совершенствам слога уже была отдана надлежащая похвала в "Современнике", -

похвала, подкреплённая выписками нескольких лучших страниц произведения. Потому-то мы не намерены повторять подробного разбора статей "Русские в Японии", и если будем приводить из нее выписки, то будем приводить их не как образчик лучших частей рассказа, но как подтверждение прежних наших выводов о г. Гончарове, как туристе. Впрочем, оно едва ли не одно и то же. Такова сила призвания в таланте, так велико очарование строк, в которых автор невольно высказывает нам задушевные стремления своей фантазии. Нет сомнения в том, что, например, Рюиздаль³⁷ (мы опять продолжаем старое наше сближение) был способен мастерски написать море в Капельмаре, или внутренность померанцевой рощи около Сорренто, или даже девственный лес Южной Америки, но проявить одному ему принадлежащий рюиздалевский элемент мог он, только изображая свои родные пейзажи. Так точно и элемент, составляющий отличительную прелесть первых произведений Гончарова, является в его новой книге только на тех страницах, где идут русские картины и русские воспоминания. Причина тому очень ясна, и все обстоятельство только служит честью для авторского таланта. В Японии он гость и зритель, в Петербурге и Обломовке он член одной семьи, истолкователь поэзии. Можно только жалеть о даровитом человеке, неспособном иметь своего тайника вдохновений, быстро прилепляющемся ко всякой новизне и на всю поэзию глядящего глазом космополита. В этом отношении г. Гончаров не грешит нисколько, а мы готовы отдать двадцать лучших его страниц (даже, например, изображение торжественного свидания с нагасакским губернатором) за одну страницу в таком роде.

"Ужасно поет на дворе, ветер стал свежеть, убрали брамсели, а вскоре взяли еще риф у марселей. Как

улыбаются мне теперь картины сухопутного путешествия, если б вы знали, особенно по России! Едешь не торопясь, без сроку, по своей надобности, с хорошими спутниками. Качки нет, хотя и тряска, но то не беда. Колокольчик заглушает ветер. В холодную ночь спрячешься в экипаж, утонешь в перины, закроешься одеялом и знать ничего не хочешь. Утром поздно уже, переслав два раза срок, путешественник вдруг освобождает с трудом свою голову из-под спуда подушек, вскакивает с прической а l'imbécile и дико озирается по сторонам, думая: "Что это за деревья, откуда они взялись и зачем он сам тут?" Очнувшись, шарит около себя, ища картуза, и видит, что в него, вместо головы, угодила нога, или ощупывает его под собой, а иногда и вовсе не находит. Потом пойдут вопросы, далеко ли отъехали, скоро ли приедут на станцию, как называется вон та деревня, что в овраге. Потом станция, чай, легкая утренняя дрожь, теньеровские картины, там опять живая и разнообразная декорация лесов, пашен, дальних сел и деревень, пекущее солнце, оводы, недолгий жар и снова станция, обед, приветливые лица да двугривенные, после сон, наконец знакомый шлагбаум, знакомая улица, знакомый дом, а там она, или он, или оно... Ах, где вы милые, знакомые явления! А здесь что такое? Одной рукой пишу, другой держусь за переборку, бюро лезет на меня, я лезу на стену. До свидания".

Кто прочтет подобную страничку и не поймет всей заключающейся в ней поэзии, тому дозволяется глядеть на г. Гончарова не более, как на приятного рассказчика. Будем же продолжать нашу задачу и отыскивать нашу тихую Россию в рассказе романиста, отделенного от родины несметным числом миль и несколькими морями. Вот еще выписка: дело происходит на крошечной купеческой шхуне, шкипер которой вызвался подвезти

нескольких русских офицеров, и нашего автора с ними, к берегам Шанхая.

"Мы в каюте сидели чуть не на коленях друг у друга, а всего шесть человек, четверо остались наверху. К завтраку придут и они. Куда денешься? Только стали звать матроса вынуть наши запасы, как и остальные стали сходиться. Вон показались из люка чьи-то ноги, долго опускались, наконец появилось и все прочее, после всего лицо. Потом другие ноги и так далее. Я сначала, как заглянул с палубы в люк, не мог постигнуть, как сходят в каюту: в трапе не доставало двух верхних ступеней и потому надо было прежде сесть на порог или карлинсы и спускать ноги вниз, ощупью отыскивая ступеньку, потом, держась за веревку, рискнуть прыгнуть так, чтоб попасть ногой прямо на третью ступеньку. Выходить надо было на руках, это значит выскакивать - т. е. упереться локтями о края люка, прыгнуть и стать сначала коленями на окраину, а потом уже на ноги. Вообще сходить в каюту надо было с риском. Однако ж к завтраку и к ужину все рискнули сойти. От обеда воздержались: его не было. Кому не случалось обедать на траве за городом или в дороге? Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб, жареные индейки, пироги? Картина известная: от торта пахнет жареной телятиной, от чаю сыром, сахар соленый, все это и у нас было, не исключая и толстой синей бумаги, в которую завертывают пироги и жаркое. Мне даже показалось, что тут подали те же три стакана и две рюмки, которые я будто уж видал где-то в подобных случаях. Вилка тоже, с переломленным средним зубцом, подозрительна. Она махнула сюда откуда-нибудь из-под Москвы или из Нижнего. Вон соль в бумажке: есть у нас ветчина, да горчицу забыли. Вообще тут, кажется, отрешаются от всяких правил, наблюдаемых в другое время. Один торопится доесть утиное крылышко, чтобы

поспеть взять пирога, который исчезает с невероятною быстротою, а другой, перебирая вилкой остальные куски, ропщет, что любимые его крылышки улетели. Кто начинает только завтракать, кто пьет чай, а этот, ожидая, когда ему удастся, за толпой, подойти к столу и взять чего-нибудь посущественнее, сосет пока попавшийся ему под руку апельсин, а кто-нибудь обогнал всех и эгоистически курит сигару. Две собаки, привлеченные запахом жаркого, смотрят сверху в люк и жадно вырывают из рук поданную кость. Ничего, все было бы сносно, если б не отравляющий запах китайского масла. Мне просто дурно, - я ушел наверх. Один только О. А. Г. не участвовал в завтраке, который, по простоте своей, был достоин троянской эпохи. Он занят другим: томится морской болезнью. Он лежит наверху, закутавшись в шинель, и чуть пошевелится, собаки, не выдавшие никогда шинели, 'с яростью лают. Мы, эгоисты, хохочем".

Если бы мы не стеснялись пределами статьи нашей, нам нетрудно было бы выписать здесь еще несколько мест в таком же роде. Но того еще мало: непрерывно, в продолжение заметок, нами разбираемых, мы находим строки, фразы, описания, слова, в которых, подобно искрам цветных огней или ярким цветам роскошной степи, вспыхивают искры чисто русской поэзии. Всюду, между описаниями странных нравов у чужой природы, японцев в юбках, американцев, китайцев, и малайцев, - всюду пробиваются городские и деревенские картины заветного русского быта, всюду сказывается в писателе глубокое понимание и способность к поэтическому воссозданию этого быта. Переплетаясь с заметками о плавании, с пешеходными странствованиями по улицам полудиких городов, сказанные искры русской поэзии живут и красят всю книгу, делают ее вдвойне любезною для сердца русского читателя. В одном месте г. Гончаров, по поводу шхуны, ставшей на мель,

сравнивает положение пловцов с положением человека, у которого экипаж сломался посреди грязи. Карета передками упирается в грязь, извозчики равнодушно глядят на колесо, мимо несчастного героя скачут и мелькают другие господа, в целых экипажах. Иной смотрит с любопытством, большая часть очень равнодушно, а все обгоняют. Не японская жизнь и не вид китайских берегов навеяли автору эту живую картину, от которой веет нашим вседневным бытом.

На другой странице дело идет о последних днях северного лета, о холодном, свежем вечере, о безлиственных аллеях, о желтых, засохших листьях, шелестящих под ногами пешеходов. Опять наши сцены, опять наша северная жизнь! Северная природа для г. Гончарова то же, что женщина, не поражающая зрителя ни красотой, ни величавостью своей наружности, но в которой стоит только раз угадать всю ее тихую женскую прелесть, чтоб к ней привязаться навеки. И наш автор навеки привязан к природе своего родного края и не забыл о ней под тропиками и воссоздает ее родную прелесть, под вечно голубым, но чуждым небом, под лучами звезд, в несколько раз огромнейших на вид, нежели наши меланхолические, северные звездочки.

Тут следует нам окончить отчет наш о книге "Русские в Японии". Она совершенно достойна своего названия. В Японии был чисто русский поэт, пребывание свое в этой стране описал он для русских людей, и книга его будет прочитана каждым русским человеком. Мать может смело дать ее в руки своей дочери, гувернер ученику, и отрок, и юноша, и старик равно найдут в ней все, что дает успех каждому полезному произведению, то есть живой язык, интересные факты и картины природы, изображенные рукой опытного мастера. Книжка г. Гончарова составляет замечательное явление в нашей новой словесности, как по достоинствам, в ней заключающимся, так и по тем

выводам, относительно авторского направления, к которым она нас приводит. Г. Гончаров может издать двадцать подобных книг - все они будут приняты с радостью, и по прочтении каждой из них критика будет повторять одни и те же слова, изъявления одних и тех же надежд. Дело в том, что для нашего писателя все путевые заметки, сколько бы их у него ни было заготовлено, есть не что другое, как эпизод, отдых от прежней деятельности, проба пера перед настоящей работою. Автор "Обыкновенной истории" может совершить хоть еще три плавания вокруг света, а мы все будем его спрашивать, скоро ли он подарит нам новое произведение вроде "Сна Обломова"? Мы теперь знаем, чего ждать от г. Гончарова, и, сверх того, уверены в том, что он сам сознает свое призвание. Как ни прекрасны, как ни умны, как ни полезны интермедии, вроде книги "Русские в Японии", за ними должна идти главная пьеса, и мы ее дождемся. Наш романист может скромничать и трудиться с его обычной скрытностью: он не обманет своего читателя, и сами путевые заметки делают подобный обман невозможностью. После страниц, недавно нами выписанных, мы все имеем право повторять следующее: г. Гончаров есть живописец современной жизни, романист-поэт по преимуществу. Те силы, которых он еще не создавал в себе, те стремления, которых он еще не признавал за собой до своих путешествий, ныне им сознаны и признаны. Он понимает свое значение и не отдаст деятельности романиста за славу первоклассного европейского туриста. Под чужим небом он еще более выучился ценить русскую природу, посреди новых впечатлений он мечтал о поэзии нашего вседневного быта, между людьми отдаленных племен мечтал он о русском человеке, рисовал воображением образы русского человека. В его походной мастерской, без сомнения, был набросан не один эскиз, может быть,

было создано не одно произведение вроде "Обыкновенной истории". Будем же нетерпеливо выжидать времени, когда воспоминания о разнообразных приключениях за морем, мирно улегшись в фантазии г. Гончарова, дадут место произведениям его прежней фантазии и прежнего творчества. Времени этого ждать недолго: еще не было примера, чтоб писатели с фламандским элементом в призвании когда-либо останавливались на половине дороги.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые опубликовано: Современник. 1856. Том LV. № 1. Критика. С. 126. Без подписи.

1 Русский писатель Денис Иванович Фонвизин (1744-1792) в 1777- 1778 годах совершил поездку по Франции и Германии и описал ее в "Записках первого путешествия".

2 Ковалевский Егор Петрович (1811-1868) - русский путешественник и писатель; в 1847 г. совершил большое путешествие по Африке, описанное им в книге "Путешествие во внутреннюю Африку" (СПб., 1849). В 1849 г. побывал в Монголии и Китае. Путешествие русского писателя Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) в Европу нашло отражение в "Письмах русского путешественника" (1791-1792).

3 Чихачев Платон Александрович (1812-1892) - русский путешественник и ученый, исследовавший Северную и Южную Америку, Среднюю Азию.

4 Брюс Джеймс (1730-1794) - английский путешественник, в 1768 г. поднялся к верховьям Нила, преодолев на пути множество препятствий и опасностей.

5 Раджа Брук - Джеймс Брук (1803-1868) - английский офицер, служивший в Индии; оказал военную помощь правителю на о. Борнео, получил там в

управление провинцию Саравак, затем стал там же раджой, преследовал пиратов в окрестных морях.

6 Головнин Василий Михайлович (1776-1831) - русский путешественник; в 1811 г. оказался в плену у японцев, свое пребывание там описал в книге "Записки флота капитана Головнина о приключениях его у японцев в 1811, 1812, 1813 гг. с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе" (СПб., 1816).

7 Рикорд Петр Иванович (1776-1855) - русский мореплаватель; участвовал в кругосветном плавании под начальством В. М. Головнина.

8 Врангель Фердинанд Петрович (1796-1870) - русский мореплаватель и государственный деятель, в течение нескольких лет исследовал северные моря, острова и побережье.

9 "Константинополь" Готье - книга французского писателя Теофиля Готье (1811-1872), вышедшая в 1854 г.

10 Итальянские путевые очерки русского писателя В. Д. Яковлева (1817-1884) в конце 1840-х годов печатались в "Отечественных записках", "Библиотеке для чтения", "Современнике"; в 1855 г. вышли отдельной книгой.

11 Фордов путеводитель в Испанию - популярная книга английского писателя Р. Форда (1796-1858), вышедшая в 1845 г.

12 Французский писатель Э. Л. Габриэль де Бельмар (Ферри) (1809-1852) много лет провел в Мексике и написал ряд экзотических очерков и романов из мексиканской жизни.

13 Ривароль Антуан (1753-1801) - французский писатель, пользовавшийся популярностью при дворе и в светских литературных салонах.

14 Кук Джеймс (1728-1779) - английский мореплаватель, совершивший выдающиеся

географические открытия.

15 Жаперуз Жан Франсуа де Галло (1741-1788) - французский мореплаватель.

16 Парк Мунго (1771-1806) - английский исследователь Центральной Африки.

17 Бугенвиль Луи Антуан (1729-1811) - французский мореплаватель.

18 Росс Джон (1777-1856) - английский мореплаватель, исследователь северных морей.

19 Епископ Гибер - испанский миссионер на Филиппинах.

20 Жакмон Виктор (1801-1832) - французский путешественник и натуралист. Дружинин имеет в виду вышедшую в 1835 г. его книгу "Дневник путешествия Виктора Жакмона...".

21 Леди Мери Монтегью (1690-1762) - английская писательница. Получили широкую литературную известность ее письма из Андрианополя и Константинополя, адресованные лондонским друзьям и описывающие быт мусульман.

22 Герштеcker Фридрих (1816-1872) - немецкий путешественник и романист; с 1837 по 1843 г. жил в Северной Америке.

23 Пюклер-Мускау Герман Людвиг Генрих (1785-1871) - немецкий писатель, садовод и путешественник.

24 Возможно, Дружинин вспоминает, что Ап. Григорьев в статье "Русская литература в 1851 году" (Москвитянин. 1852. № 3) называл "Обыкновенную историю" произведением "сухим до безжизненного догматизма по основной идее".

25 Измайлов Владимир Васильевич (1773-1830) - русский писатель, близкий к сентиментализму.

26 Теньер - Д. Тенирс-младший (1610-1690)-фламандский живописец, мастер бытовых простонародных сцен.

27 Бутков Яков Петрович (1821?-1856) - русский писатель, представитель "натуральной школы", сочувственно изображавший отверженного обществом "маленького человека".

28 Остад (Остаде) - семья голландских живописцев. Здесь речь идет скорее всего об Адриане ван Остаде (1610-1685), одном из ведущих мастеров "крестьянского" жанра.

29 Ван-дер-Нээр - имеется в виду голландский художник Арнольд ван дёр Неер (1604-1677).

30 Миерис (Франц ван Мирис-старший) (1635-1681)- голландский художник, автор живописных бытовых сцен.

31 Дов (Герард Доу) (1613-1675)-голландский живописец а гравер.

32 Гоббем (Гоббема) Мейндерт (1638-1709) - голландский художник-пейзажист.

33 Ван-дер-Вельд - видимо, Эсайас ван дёр Велде (1590-1630) - один из создателей национального голландского пейзажа.

34 Уилки (Вильки) Давид (1785-1841) - шотландский жанровый живописец, путешествовал по Европе и Ближнему Востоку.

35 Эгерия - нимфа, которая, согласно преданию, в ночных беседах открывала предначертания богов римскому царю Нуме Помпилию.

36 В "Современнике" (1855. № 11. Отд. V) Некрасов в "Заметках о журналах за октябрь 1855 года" писал о путевых очерках Гончарова.

37 Рюиздаль - голландский пейзажист Якоб ван Рёйсдал (1628-1682).

В. А. Котельников